

или проза, случайно или неслучайно возникает ритмический рисунок или рифма.

В самом деле, строки о походе Владимира Мономаха на половцев, извлеченные из Ипатьевской летописи под 1103 г., можно рассматривать и как стихи в прямом смысле слова (как свободные тонические стихи с тенденцией к дактилическому окончанию, с пропуском акцента в 3-й строке и добавлением в 4-й), и как ритмическую прозу (здесь мы встречаемся с так называемым ритмом перечисления, как и в примере из Ипатьевской летописи под 1022 г.; этот фразовый ритм возникает совершенно естественно — интонационные паузы после каждого слагаемого перечня совершенно неизбежны), и, наконец, просто как прозаический кусок. Причем это толкование в каждом отдельном случае будет зависеть не от особенностей «интуиции» исследователей или не столько от их субъективного восприятия, сколько именно от неясности границ между прозой и стихом (я имею в виду названные примеры). Однако стоит отметить, что переходные между прозой и стихом явления — дело обычное в литературах других славянских народов, в частности в древнечешской письменности. Как пример можно напомнить хотя бы следы рифмовки в «Штильфриде», памятнике, возникшем где-то во второй половине XIV в.; однозначный ответ — проза ли здесь или испорченный безразмерный стих с восьмисложной «осью» — будет, по всей видимости, неправильным. В тот период развития чешской литературы, когда появился «Штильфрид», происходила сложная борьба между старой рыцарской (поэтической) традицией и новой прозаической (бюргерской) тенденцией, так что появление такого «компромиссного» явления в общем оправдано.

Я уже не говорю о том, что ударения, расставленные в летописном отрывке А. И. Никифоровым, абсолютно произвольны: здесь мы встречаемся с явной и частой еще, к сожалению, модернизацией, когда исследователь переносит нормы современного языка на язык древнейшей эпохи, в данном случае на древнерусский язык киевского периода.

Известно, и это не раз подчеркивалось виднейшими отечественными и зарубежными стиховедами, что «для исследования принципов стихосложения определенной эпохи, как и для решения общего вопроса об отличии стиха от прозы, плодотворно изучать не пограничные явления и определять их не путем установления такой границы, быть может мнимой. В первую очередь следует обращаться к наиболее выраженным формам стиха, относительно которых не может быть сомнения в их природе».⁹

Итак, если мы априорно допустим существование в киевскую эпоху книжного, «искусственного» стихотворства, то мы должны искать нечто, совершенно отличное от прозы. Поиски эти будут затруднительными по разным причинам. Придется отказаться от привычки связывать со стихами своеобразное графическое изображение, когда каждая стихотворная строка (стих) пишется отдельно от другой. Особые трудности проистекают от слабой разработанности истории русского ударения.

Наконец, для различных периодов истории русского языка весьма сложно восстановить слоговой рисунок слова. Здесь не поможет даже точное установление хронологического предела падения редуцированных, хотя такое установление и в принципе кажется маловероятным (мы имеем в виду живой язык, а не графику), ибо в искусственном, связанном с литургией или — шире — церковным бытом произношении редуцированные сохранялись еще очень долго, в богослужбной практике старообрядцев поморского согласия они, например, сохраняются и до сих пор.

⁹ Б. В. Томашевский. Стих и язык. М.—Л., 1958, стр. 14.